

Надо получать удовольствие от своей судьбы

— Вы осознанно строили свою жизнь или всего лишь сопротивлялись ее разрушению?
— Если вспомнить Пушкина, утверждавшего, что человек способен не лгать, но быть искренним не может физически, — насколько Вы искренни в разговоре с читателем?
— Многие ли изменились в Вашем самосознании в последние годы?
— Почему одновременно с новым романом Вы недавно опубликовали сборник ранних рассказов, не вышедший в начале 60-х?

Зачем-то здесь меня еще оставили

— Минувшей зимой в Америке со мною случилась настоящая прелесть — в старинном, лукавом смысле. Такой соблазн. Еду на электричке из Нью-Йорка в Принстон. Настроение паршивое, мысли о смерти... Смотрю в окно, вижу слово, написанное спреем на стене. Слово такое странное: «BIRDY» — ну, как это перевести? «ПТИЧНО», что ли... Я думаю: нет, не может быть такого английского слова. И вдруг сочиняю стихи — впервые в жизни по-английски. Это был подарок. С этим я мог жить. Пушкин с детства писал по-французски, и это ему не мешало осознавать себя русским. У меня, увы, случилось в шестьдесят лет.

Да, советская власть у меня много чего украла, однозначная вещь. Но, думаю, до того, как у меня украли МИР, у меня украли большую часть МЕНЯ. Украли образование. Я должен был по идее окончить классическую гимназию, говорить на четырех, а может, на шести языках. Изучать философию, богословие, культуру великих цивилизаций. В 16 лет побывать в Париже. Выбирать из множества вариантов — или не выбирать, а спиться и помереть под забором — мое право. Но я должен был иметь перспективу выбора. Да, обокрали, конечно: приехал в Париж в 50 лет, а не в 16, и он мне страшно не понравился. Какой-то назойливый, настаивающий на своей уникальности, на всем, что я о нем слышал или читал, — да на фиг он мне нужен? Потом я устыдился: где Париж и где я; понял, что это я не на него обижался, а на свою теоретическую судьбу. А теоретической судьбы не существует. Либо судьба — либо несудьба.

Так что еще вопрос: обокрали или наоборот. Получился вот этот единственный вырез судьбы, и другого наклона стила быть не может, именно под таким вот углом ты пропал свою жизнь. Знаете, есть мрачноватая шутка: «Что делать в случае изнасилования? Надо расслабиться и постараться получить удовольствие» — так вот, черт его знает, может быть, принять изнасилование — это тоже судьба? Принял — но, что важно, в какой-то момент осознал: «Вы меня насилуете, как других, — ладно; но вот этим способом я не разрешаю вам меня иметь...» Возникает впечатление, что человек свою судьбу сделал, — нет, он просто в главном для себя не прогнулся. Не дал себе опустить. Видите, вопрос активности и пассивности — очень сложный...

Как там у Заболоцкого: «О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела!» — это в моей жизни было столько раз, причем не метафорически. Я несколько раз просто обязан был умереть. В блокаде — ну, одно слово: чудо. Еще кое-какие эпизоды, вплоть до смерти в зоне, куда я чудом не попал. Последний раз — три года назад, болезнь, действительно серьезный случай, и если бы не доктор Коновалов, если бы не друзья... То есть поневеле все время возвращаешься к библейским заповедям. «Не убий» — конечно же, как же можно, если ты сам себе часто говоришь: «Почему-то, зачем-то здесь меня еще оставили». Или другие: «Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет...» Я очень любил своих родителей, как мог, исполнил свой долг перед ними; теперь я сирота, и только недавно подумал: да как же их не чтить, если тебя вообще могло не быть. Или был бы кто-то другой, без малейшего шанса быть тобой. Сколько людей на земле недовольны своей жизнью, своей судьбой. Девушка какая-нибудь плачет, что она не Мерилин Монро и жених не миллионер. Ерунда. Представь, что тебя вообще нет. Если осознать до конца, что вот ни одного из нас просто никоим образом не существует, — остается только обожать жизнь, благодарить Бога, читать молитвы. И не иметь ни малейших претензий к этому миру.

А насколько я искренен в отношениях с этим миром — тут уже проблема формы и содержания. Сегодня утром я настроился, что буду с вами откровенен. Надо быть в форме: побориться, одеться, включить еще какие-то чинло параметров. Подумать о том, что, если я начну вам вываливать всю подноготную, вы потом скажете: «А зачем он приходил и что этим хотел изобразить?» А начну проповедовать — получится, что я поставил себя в позицию всезнающего, а вас в позицию полного невежества. Безвыходное положение. Я принял некую форму — но какая же тут искренность?

Из безвыходного положения есть только один выход: жить, быть. Вот я и буду сегодня с вами жить и быть. И все равно при этом останусь в плену такого темного «Я», потому что вышел в мир, где надо сначала еще договориться: что такое «Я», что «МЫ» и что «ОНИ». И построить идеальное общество, в котором не придется говорить об искренности, потому что вместо всех «он», «она» и «они» будет только «Я».

Мне никогда не было комфортно — и всегда было комфортно. Меня всегда интересовала лишь моя свобода, а в том, в чем я раб, — ну, я надеюсь, что все-таки я Божий раб, а не чей-то еще. Всегда старался соответствовать тому, что мне выпадает. Не пукали за границу — обездвижил свою страну до Камчатки, подосаженательно понимаю, что это все рудилка, что надо запечатлеть, пока судьба посылает. Выпусти за границу — первой страной, позвавшей меня, предложившей пожить, поработать, оказалась Германия. Сразу вспомнил двух своих бабушек-немок. Искал на улицах знакомые лица, вслушивался в речь, ничего не понимал. Приехал в Гамбург, обрадовался: «О! На Ленинград похоже!»

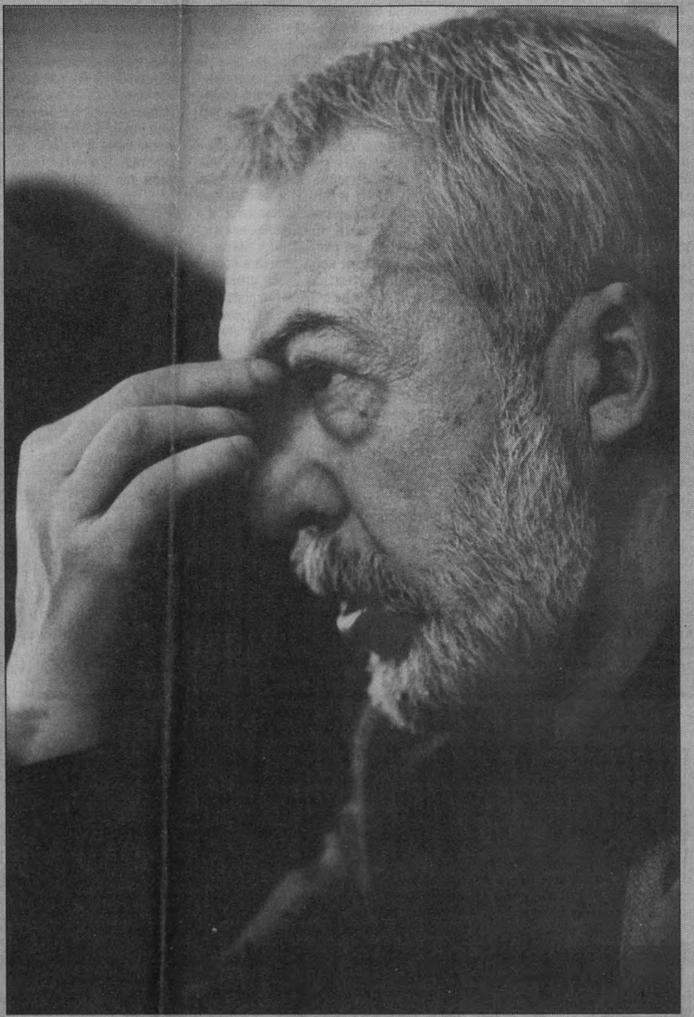
Казалось себе свободным, а недавно выяснилось, что я — несамостоятельный. Было так. Мальчик, сын подруги, художник (он делал по моей просьбе картины к «Отлаженным») спрашивает: «Эта правда, что у тебя маленький сын?» — «Правда». — «С какого года?» Я говорю: «С восьмидесяти восьмью». — «Это хорошо. Значит, самостоятельный». Я заинтересовался: «А я по-тому самостоятельный?» — «Не-а». — «С какого же года начался самостоятельный?» Он говорит: «С восьмидесяти пятого». Я тогда что-то просек и спросил: «А ты с какого года?» Он говорит: «С восьмидесяти пятого»...

После операции что-то интересное для самого себя зацепил с этим «Я» и «Не Я». Усаживаю меня психиатр в кресло, просит: «Расслабьтесь, вот так, поспокойнее... скажите, кто вы?» Такой тест. Я говорю: «Не знаю» — ну, что еще ответить. «Футляр», — говорю, — «хотите — скафандр...» Понятно, что от хорошей жизни мы так не говорим. Когда припадешь болезнью, или голод, или похмелье, или измена, или предательство, — вот тогда действительно ты становишься «Я», тогда это принадлежность неосуждаемая, да?

След-то прочитал или услышал, что серьезные, «крутые» математики все самое важное делают до 25 лет, а потом создают свои школы, развивают идеи, доносят их до мира. Что-то подобное происходит и в области художественной мысли. Я точно знаю, что в своей жизни два года был гением: с 23 до 25 лет. В основном я все в эти два года сделал. А то, что было потом, — работа практикующего экзистенциалиста. Я практику до тех пор, пока у меня есть вот это мое «Я». Я его не понимаю, оно мне не интересно, я его не люблю, но, во-первых, ничего другого у меня нет, а во-вторых, у меня есть некоторые обязательства перед тем двадцатитрехлетним писателем. Есть кое-какие не реализованные им проекты. В прошлом году у меня было два или три юбилея. Десять лет как стали меня выпускать за границу, двадцать лет роману «Пушкинский дом» и сорок лет, как я пишу. Раньше, до революции, такие даты (огромные, если подумать, суммы складываются) отмечала общественность. Я решил сам себя почтить: издал одну большую, роскошную новую книгу и одну маленькую — первую. Рассказы 58-го, 59-го годов. Хозяин — барин, меня спрашивают: «Как оформим клапан суперобложки?» А туда обычно сажают фотографию, биографию, чтобы с автором познакомиться. Я говорю: «Давайте напишем: «Прочие книги автора» — и дадим полный список...» Теперь, когда ко мне приходит молодая сочинительница, мне очень легко ответить ему, выслушав его жалобы на жизнь: «Ничего-ничего, вот сорок лет пройдет, издадите, как я, первую книгу — и дальше все будет нормально!»

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ

Отвечая на приглашение побывать у нас в гостях «В четверг поутру», Андрей Георгиевич БИТОВ припомнил название фильма, когда-то снятого А. Эфросом по его сценарию: «В четверг и больше никогда». Вот это «больше никогда» — изумление, радость и уважение к неповторимости каждого дня, каждой судьбы, каждой встречи — стало сквозным мотивом его двухчасового монолога. Совершенно естественно «Я» перетекало в этом монологе в «ОНИ», а «ОНИ» в «МЫ», — и мы, слушающие писателя, воспринимающие его размышления как еще один его текст, рожденный в нашем присутствии, старались не перебивать этот текст вопросами. Вопросы возникали из течения текста — как и в книгах Битова. Вспомнилось еще одно битовское заглавие: «Поведение как текст». Право, жаль, что с этим текстом читатель познакомится лишь фрагментарно. В компенсацию Андрей Битов передал «ОГ» новое свое сочинение, которое мы напечатает в одном из ближайших номеров.



— Вы были автором первой рецензии в «Московских новостях» на фильм Абуладзе «Покаяние» — символ перестройки. Почему идея покаяния не воплотилась?
— Ваша позиция в споре о «шестидесятниках» — поколении, к которому и Вы принадлежите?
— Оправдалось ли пророчество Гоголя, что Пушкин — прообраз русского человека через 200 лет?
— Нужны ли России духовные лидеры?

Много тел на душу населения

— Среди прочих моих недостатков есть такой: я никогда не перематываю того, что мне понравилось. Фильм «Покаяние» мне понравился сразу и однозначно, и я не собираюсь спустя десять лет снова его смотреть, обдумывая себя на какие-то изменения в восприятии.

Там ведь, у Абуладзе, были две темы: обличение зла и осознание своего личного греха. Первая тема в общественной жизни получила развитие, а вторая — на нашем хребте камнем лежит до сих пор. Покаяние — это все-таки не разоблачение, а понимание: МЫ породили и Ленина, и Сталина, и Хрущева с Брежневым. Когда пошла волна покаяния «шестидесятников», я не задавался вопросом, правы молодые или не правы. Я думал: в чем же тут дело? Ответ простейший. Наложи. Нельзя так долго бить т. Ну, вроде: сложил. С другой стороны — ты вот живой. Остается тебе одно — сказать: «Вина моя». Хотя и есть тут какая-то недомога: если я признал, что виноват, получается, что другой, неראкающийся, хуже меня. Но это еще можно стерпеть. Пусть лучше я возьму вину на себя, чем отдам ее другому.

Когда скомпрометируют статью Дзержинского, и опечалится. Статую на площади нет, но корни-то остались, и призрак этот кому-то будет мерещиться, и ты будешь вздрагивать, когда иностранец у тебя спросит: «Where is Lubjanka?». Нет, его надо было опустить. То есть закопать в землю на месте, где стоял, заасфальтировать. Потом, может, вырыть подземные переходы, торговать там презервативами. Так же сейчас я знаю, как поступить с Мавзолеем. Тело, конечно, похоронить — только не в Питере, а на родине. Мавзолей оставить — все-таки Шувев неплохо свою работу сделал. А внутри Мавзолея сделать глубокую шахту, окружить красным барьерчиком. Я, как бывший горный инженер, знаю: из глубокой земли такой дождь идет, такой адский холод — это ужас! И вот вы туда заходите, наклоняетесь над шахтой, выдыхаете — и выходите. Все. И Мавзолей на месте, и Ленин похоронен, и все эмоции в нас...

Свое дерьмо надо знать, нохать и платить за него. Это твердая валюта, а не одобрение. Писателю, разумеется, легче: он пишет тексты. Это тоже форма расплаты. Ну, а что делать остальным? Как жить миллионом, как им строить отношения с миллионом убытков? На днях пришел ко мне родственник, художник, из породы людей, которые «запали» однажды на Соловки, с этим и живут. В Перми, оказывается, власти отдали под музей



«Общей газете», чтобы никогда не была общим местом.

целую зону — сталинские лагеря. А опыта нет, как это делать. У кого спросить? Понятно, что у немцев: это народ, который полвека профессионально кается. Вина распределена у них на каждую душу населения.

Юз Алешковский, умеющий формулировать блестяще и синхронно, хорошо ответил на вопрос, какая наша основная беда (то ли нашего времени, то ли страны, то ли человечества). Он сказал: «Много тел на душу населения».

Вот шар, на шар мы живем, мысленно окрашиваем его в разные цвета. Нам кажется: мир существует потому, что есть на карте наш кусочек, окрашенный, допустим, в розовый цвет, а кто-то на той стороне шара думает наоборот. Но живут еще на этом шаре несколько сотен или десятков... или всего несколько человек — как их назвать? — блаженных, идиотов, святых, проходивших. Тех, через которых что-то происходит в мире. Остальные — живут в напряге, в борьбе за выживание, в соревновании. Но выживаем-то мы целиком, а не в частности. И общими усилиями должен произойти поворот. Это идея конца века, конца света, которая еще не дошла до ума. Не у всех дошла. Но потихоньку доходит. Есть тут ужас — что объединение мира произойдет только под катастрофой. Но уж, пока гром не грянет, мужик не перекрестится...

А катастрофа — она сегодня вполне спелая: Чернобыль, озонные дыры, химические отходы. Значит — рана! И, значит, мир сознательно или подосаженательно идет на рану — чтобы изменить судьбу? Так же, как Пушкин, кажется мне, сознательно шел на смерть, а на рану, на дыру в своем теле, на поворот всей судьбы. То есть это был не фатализм, а «предположение жести». Я в это очень верю. Потому что книга о Пушкине, как раз с таким названием — «Предположение жести», писалась мною в самое тяжелое время, когда у меня был полный облом во всем, в письме тоже. Он, Пушкин, мне просто взял и помог. Он случился в моей судьбе вовремя. Воспоминание о нем и напоминание о нем всегда во время. Почему сейчас люди так заняты Бродским? Ну да: законный всплеск любви к поэту. Но я вдруг вспомнил, как однажды мы вывалили с ним в Нью-Йорке, и я неожиданно увидел, до чего он хорошо знает Пушкина, — при том, что никогда не делал в стихах явных отсылок в адрес Александра Сергеевича. И я вижу теперь, как много на самом деле пушкинского в Иосифе было — в этом его гортанном рывке еврейского облике. Душевный рисунок, взгляд на людей, внутренний жест, — нет, это нельзя объяснить словами. Что-то он вычитывал из Пушкина, больше, чем текст, чем поэтика, — и поэтому у него кое-что получилось...

Смерть Иосифа, в каком-то смысле, подводит итог спору о «шестидесятниках». Ну, какой он «шестидесятник»? И какой я «шестидесятник»? Мы питерские люди, никакой отцепил у нас там не было — так, мороз прошел по болоту с обкомовским дышаньем. И все замерло. Мы втайне завидовали московским, столичным словам, которые образовались в одну секунду с помощью топающего Никиты Сергеевича... Хороший был человек: топнул, кулаком помахал — и у тебя слава на весь мир. Мы в Питере имели свою тайну вкуса. Нас — тех, кто роллился в тридцатые, — стали крывать всем скопом просто оттого, что мы что-то сделали. Плюс успех. Плюс, к примеру, что не только я с 37-го года, но и Черномырдин. Это бычья власть такая — «шестидесятники». Сидит и мозолит глаза. И я сам с этим согласился и обрадовался, когда мезяц назад в Берлине познакомился с двумя русскими, возраста моих старших детей: один писатель, другой кинорежиссер. И в первую секунду вижу: мы абсолютно совпадаем с ними в понимании жизни и искусства. Ну, думаю, пошло дело! Вот они, ноше шестидесятники, — те, кто в 60-е годы родились. Все нормально: нам пора на пенсию, а эти вбулись в эпоху. В другую, не нашу, свое.

То, что общество сегодня живет без каких-то безусловных авторитетов, — означает всего лишь конец тоталитаризма. Поневеле еще одну заповедь вспомнил: «Не сотвори себе кумира». Опасно избирать лидера по принципу: «Не Сталин, а наоборот». Это неправильно. Это бескультурно. Говорят, например: «Да, есть у нас кое-какая литература... Но где же Пушкин и Толстой?» Люди любят путать личность с ролью. Скорбя о том, что у нас сегодня нет «другого Сахарова», забываю о феномене Сахарова. Чистая душа. Какой-то август, сталинский лауреат, создатель бомбы, — и почему-то на него падает лот выбора, и он становится совестью народа. Фантастическая экзистенциальная победа: «И я вдруг понял, и я так горюю!» Навряд ли безумия: выйти на улицу и удивиться — Господи, да что же это делается! Ведь все знали раньше и лучше него, что делается. Ты знаешь, я знал, мы знали, а он, оказавшись, еще не знал. Вот что надо обсуждать: право человека удивиться или возмутиться и громко об этом сказать. Нет, мы обсуждаем, достаточно ли он умен, хорош, талантлив, чтобы иметь право говорить от нашего лица. Не надо ждать вождя и пастьеры. Это с нами было. Мы уже в другом времени. Если люди не выдвигают сегодня такую фигуру, то — не помню, кто сказал, Макавиелли или кто-то другой, — что же, правда там, где народ. Значит, у народа другая головная боль.

Я сейчас вспомнил, как в ПЕН-Центр пришел Горбачев — накануне прошлогодних выборов, когда он себя провокативно выдвинул в президенты. И мне, президенту ПЕНА, пришлось ему сказать, тоже провокативно и превозмогая себя: «Михаил Сергеевич, за последние время вы сильно выросли». Тут лести не было — он вышел из своей исторической роли и соврал с самим собой...

Пожоже, меня занесло в политику, а туда мне неохота. Сразу какая-то тоска подступает к сердцу. Мне кажется, что политики — такие люди, которые отключают на себя огромный энергидром. Делают вид, будто они как-то втянут во время, чуть ли не творят его. А настоящий, хороший политик (вот как Кутузов у Толстого) — это человек, который правильно смазывает время.



— Почему Вы не вступаете в диалог «Власть — Интеллигенция»?
— Остаетесь ли Вы патриотом, работая на Западе?
— Сохранили ли Вы неприязнь к начальству, численность которого сегодня еще больше, чем при советской власти?
— Не угрожают ли российскому менталитету «новые русские»?

Не мешайте времени быть

— У меня есть несколько способов самосохранения, выработанных еще со сталинских времен. Главный из них вот какой. Я сижу сейчас с вами в газете, приятная беседа, кофе, коньяк, и я вам честно говорю: я никогда не беру в руки газету. Выступаю в газетах со статьями, даю интервью, дружу с журналистами, но я должен жить не в пространстве бумажного листа, где каждая строчка вызывает во мне отвращение и страх, а в системе «живой газеты»: что мне сказал такер, что по телефону сообщил друг, о чем услышал от детей. Та же самая информация — но какой перевод! Я даже «голосов» в советское время не слушал, когда Переделкин в семь часов вечера начинало изо всех окон писать: писатели «ловили информацию». Нет, от таких способов синхронной жизни у меня темнеет в глазах. Лучше буду плыть, как рыба, и ничего не понимать. Ничего не понимать — это становится постепенно для меня профессией.

Конечно, мне это все не безразлично. Потому что я привык зависеть от них каждую секунду: сейчас придут и возьмут за задницу. Но, ставя себя в зависимость от политических новостей, ты привыкаешь к другому вопросу: «Да когда же они, наконец, придут-то и возьмут?» Хотя я и понимаю, что ради вот этих новостей, ради гласности стоило три века прожить. Нет, правда, о чем я говорю: три века пройдено за десять лет! Ведь это МЫ прошли, а не ОНИ.

Самое большое начальство, с которым я общался, — это ты, Егор. Любая начальник при большевиках для меня был завеломо полдец. Настали другие времена, и я с удивлением стал замечать, что многие мои друзья — начальники. А потом вдруг «раз» — и я тоже начальник, в ПЕН-Центре. Я не виноват, меня выбрал народ. И я впервые стал о начальстве лучшего мнения... Хотя подумать о себе: «Я начальник, я имею какую-то власть над судьбами людей» — мысль равная самоубийству. У нас скромная правозащитная организация, если где-то на просторах исчезнувшей империи кого-то за язык притянули, мы вступаемся. И иногда получается. Страшно чувство: ты поставил подпись, где-то что-то сказал, — и человек не сидит за решеткой... Или когда я участвую в выдвижении на премии — это ведь не только слава, это и деньги, на которые человек с семьей живет год или два. Ты передвинул нечто в чужой судьбе — и как же тебе не спохватиться: «А, вот что собой представляет то, что я проклинал всю жизнь!»

С ПЕН-Центром такое наблюдение еще связано. Развалился Союз писателей, пошел слух: создан ПЕН — хороший, справедливый Союз. Потянулись люди — все, хот и состояли в том плохом Союзе, но, если им верить, как на подбор, враги той власти. Идут: «Мы хотим быть с вами!» — и следом: «А что я за это получу?» Извините за авоитианту, но в «Пушкинском доме» у меня лад говорит: «Да у вас здесь будет мерзнуть без ошейника». Так что в отношениях нашей интеллигенции с властью это тоже присутствует: шея мерзнет без ошейника...

Мы можем гордиться тем, что «интеллигенция» — русское слово иностранного происхождения. У них интеллектуалы, у нас интеллигенты, совсем другое. То есть не «высококолые», не «мозговой трест» и не «спешки», как в советское время, а люди, ищущие ответ на вопрос: «Кто мы такие?» — на биологический вопрос вида. И при этом не понимающих, что такое власть, начальники, зачем все они. Поэтому власть всегда призывает к себе интеллигенцию. Слава Богу, так получилось, я ни разу не ходил на эти встречи. То меня нет, то их. И теперь уже решил, что не должен туда ходить. Поп и приход — очень разные вещи. Да, они тупые, некрасивые, они плохо выглядят — потому что плохо могут выглядеть только осознавшие себя люди. Что мне их, бомбить? Лучше я поговорю с продавцом: почему это, земля ли подешевле, переименую. У Розанова замечательное место есть: знаешь ли не понимаю, то ли дело Россия, вышел на улицу, встретил русского, посмотрит он на тебя стрелником взглядом, помотришь ты на него, — и все понятно... Вот это состояние, наверное, и есть патриотизм.

Я гастрабейтер, читаю в Америке лекции, зарабатываю на жизнь семьей, она у меня обширная. Как профессионал, шкуркой все там воспринимаю и более-менее точно реагирую. Но возвращаюсь домой — и испытываю розановское чувство: все понятно! При том, что не могу ответить ни на один судьбоносный вопрос Егора Яковлева: куда нам идти, как быть с властью, что у нас за страна. Я думаю о том, что такое **свои**. В чем дело? В языке? Да вон в Америке никто не умеет толком говорить по-английски. Саша Соколов сказал: «Они даже ходить не умеют» — ему, как лыжному инструктору, виднее. Природа? Она в России разная, и каждый пейзаж можно найти в какой-то другой стране. Единственное мое объяснение, на котором стою: патриотизм — это тоска об историческом возрасте. Есть что-то, что ты проживаешь вместе со своей родиной, независимо от своей судьбы, от своего сознания. Да ни черта мы не живем в 1997 году! Весь мир окрашен в исторические цвета. В Монголии живут в XII веке, им так удобно. Почему нет великого монгольского футбола? Огромное футбольное поле, на десятки тысяч километров, только дай мяч и голки! Нет, не получается, потому что у них есть конь. Конь и монгол — это одно и то же, это такая красота... Или другая обожая мною страна — Голландия. Приехал я туда — и не вижу, где великая живопись, где великие географические открытия, где это все? Иду по ночному Амстердаму, заглядываю в какое-то окошко — сидит обыватель, чай пьет. И как же там у него хорошо, и все там, в его комнате, и открытая, и живопись. Туда, в путь, ушли все поколения, культура, интонация, исторические свершения...

Значит — что? Значит, позвольте людям жить, как они умеют, позвольте им быть самими собой.

Мир настолько хорош, что позволяет жить каждому народу в своем времени. Пусть все будут пользоваться компьютерами, у всех будут «Мерседесы», понятное дело, но бедняки останутся бедняками. И здесь секрет мирного сосуществования. Сколько было споров на тему «Москва и Петербург». Я петербуржец, живу в Москве и, если я не работаю в данный момент в Америке или в Германии, каждую неделю езжу в Питер, где моя семья. И там, и здесь дол рядом с вокзалом, надо только площадь перейти. Из XVII века переезжаю в XIX. И ничего страшного со мной не происходит. Значит, все ушедшее — не ушло, и все умершее — это не ОНИ, а Я.

Вот вы со мной сейчас разговариваете, — и перед вами живой Олег Васильевич Волков. Потому что он человек моей жизни. Я умру — останусь в тебе, никакая ты не денешься, это предельно ясное видение бытия. А то, что с людьми уходит кака-то интонация, что мы ее уже не можем расслышать в жизни, — так ведь преобладание какой-то интонации это тоже тоталитаризм.

И тут еще такое возникает: мы никак не можем переступить некую заколованную черту — совсем как у Гоголя в «Вие» — черту между культурой и цивилизацией. Я нормальный противник засорения русского языка, но, тем не менее, есть непереодолимое английское «identity». Ну, как это перевести — «идентичность»? Пушкин сказал за ним Цветаева повторила: «самостояние». Нет, все неточно. Это что-то такое, что у всех народное есть, а в России не случилось. Есть француз, немец, итальянец, японец — а русского нет. Хорошо это или плохо? И есть ли она, «загадка русской души»? Я думаю, что главная наша национальная черта — бесконечная выработка своего менталитета. Я часто проводил разные аудитори — как перевести на русский это самое «identity». И одна норвежка сказала: «Очень легко могут ответить. По-русски это — Я!» По-моему, она права. На вопросы «Кто мы?» и «Кто они?» в России есть ответ: «Это Я».

Надо получать удовольствие от судьбы, а не бояться ее поворотов, не страшиться чего-то нового, а осознавать в его контексте себя. Вот сегодня я у вас, а позавтра встретился с редактором «Economic» — тоже не слабо. Почему-то в ресторане «Le Gastroном», в высотном сталинском доме, вокруг сидят «новые русские», мы беседуем по-английски. Я уж не сплывал, заказ сидит лобстера: помню, что это вкусно. Но со вчерашнего у меня руки трясутся, никак ищешь не могу надеть на это чудлище морское, что уже паншир расколоть. И я, в ресторане «Le Gastroном», кричу: «Арсон!» Опомнился — я ж в России — «Оффшант!» Парень подсел, я ему: «Слушай, друг, тут у меня проблема, помоги». Он помог, стало хорошо. Нет проблем.

Знаете, в чем прелесть России и доказательство того, что о ней все в порядке? В том, что я могу вам об этом рассказать.

Полосу подготовил Михаил ПОЗДНЯЕВ
 Фото Михаила КЛИМЕНТЬЕВА